

## СЕСТРЫ ПАВЛА ФИЛОНОВА (ВОСПОМИНАНИЯ)

ROŚCISŁAW PAZUCHIN

Paweł Filonow (1883 – 1941) był jednym z najbardziej utalentowanych i tajemniczych malarzy rosyjskiej awangardy początku XX wieku. W jego twórczości spłoty się w dziwny sposób rewolucyjno-nowatorskie abstrakcje z mistyczno-religijną symboliką. Nic więc dziwnego, że prace Filonowa były kompletnie ignorowane przez władze radzieckie. Filonow spędził ciężkie życie pełne nędzy i poniżeń; zmarł on z głodu na samym początku Blokadę Leningradu. W latach 50-ch poprzedniego wieku miałem smutne szczęście poznać jego siostry, zapomniane przez społeczeństwo, i być świadkiem ich rozpaczliwej walki o wyżywanie i o ocalenie drogocennych obrazów brata, którym ciągle groziło zniszczenie.

Мне не приходилось встречаться с Павлом Филоновым, но я хорошо знал его сестер, Евдокию Николаевну Глебову и Марию Николаевну Филонову. В период между 1950 и 1970 годами я очень часто посещал их в их темной квартирке на Невском проспекте, во дворе дома, в котором помещался парадный кинотеатр тогдашнего Ленинграда, «Авро-ра». Я очень тогда увлекался теорией пения и даже брал уроки пения у Евдокии Николаевны.

Не совсем правы те, кто утверждает, что это была «коммунальная квартира». Это была собственная квартира Глебовых, из которой сестры были эвакуированы во время блокады. Когда же они вернулись по окончании войны в Ленинград, оказалось, что туда уже вселилась бойкая семейка, приехавшая из далекой провинции. Непрошенные гости захватили прежде всего большую светлую комнату с балконом, выходящую на площадь Островского, вместе с сохранившейся мебелью и пожитками. Что могли поделать две слабые женщины, совершенно неприспособленные к «новой морали» первого в мире социалистического государства и у которых не было за душой ни копейки? Великолепная комната со всеми вещами осталась во владении налетчиков, у которых не было недостатка в деньгах, хотя занимались они продажей... театральных билетов. Сестрам же власти великодушно предоставили две

комнатушки в той же квартире, из которых в одной не было окон, а другая выходила своим единственным окном на темный двор. Практически, целый день нужно было сидеть с электрическим светом.

Сестры очень любили друг друга. Мария Николаевна почему-то называла сестру «Тиночкой», а та ее – «Мусиком». Жили сестры очень бедно. «Мусик» была инвалидом и получала нищенскую пенсию, Евдокия Николаевна же вела секцию пения в Доме Культуры Первой Пятилетки (около Марининского театра), где тоже платили не густо. Подрабатывала Евдокия Николаевна также подпольными частными уроками пения, но с этим было непросто. Дело в том, что соседи иногда поднимали скандал: их начинало нервировать пение.

– Вы «бывшие», – кричали они. – Мы пойдем в Смольный\*, чтобы вас выгнали из Ленинграда!

Перепуганные сестры умоляли учеников разойтись.

Была еще и третья сестра, Екатерина Николаевна. У нее была нормальная семья и дети. Жила она отдельно и только изредка посещала сестер. Она не выражала желания познакомиться с нами ближе, и потому ничего о ней сказать не могу. Не могу ничего сказать и о отношениях между тремя сестрами. Только однажды Евдокия Николаевна сказала с сожалением:

– У Екатерины Николаевны был потрясающей красоты голос, но жизнь заставила ее отказаться от певческой карьеры.

Комнатка с единственным окном была узка и скорее припоминала коридор (кажется, это была отгороженная часть кухни). В нее были втиснуты пианино, стол, два кресла и туалетный столик с зеркалом. Это был «салон», где за столом распивались чай, и где происходили уроки пения. Но в те времена никто не интересовался Евдокией Николаев-ной и, кроме учеников, в «салоне» было мало посетителей.

В комнатке без окон была спальня. Там стояли две кровати и квадратный стол между ними. Под кроватями я заметил странный ворох свернутых в трубку бумажных листов и холстов. Отвечая на мой недоуменный взгляд, Мария Николаевна сказала с тяжелым вздохом:

– Это картины нашего брата, когда-то известного художника, Павла Филонова. Их выкинули из запасников Русского Музея. Когда мы с Тиночкой умрем, их выбросят на помойку.

Мне в известном смысле повезло. Все тогда забыли о сестрах и об их брате. Я оказался единственным благодарным собеседником, который не только внимательно слушал их воспоминания, но и переживал вместе с ними те события, о которых они рассказывали. При этом Евдокия Николаевна была в своих повествованиях очень дипломатична и старалась избегать острых характеристик, но Мария Николаевна спокойно и беспощадно выкладывала все, что думала о революции, ее вождях, коллегах брата, знакомых и, конечно, о

\* „Instytut Smolny” był przed Rewolucją Październikową pensjonatem dla córek z rodzin szlacheckich. Po rewolucji mieścił się w nim Komitet Wojewódzki KPZR – najwyższa władza w Leningradzie.

соседах по квартире. Я очень сожалею, что не запомнил всего, что мне мои дамы рассказывали. Поэтому мои воспоминания будут по необходимости отрывочны и не всегда точны: прошло ведь столько лет и совершилось столько перемен! Думаю, однако, что мне удастся заполнить некоторые пробелы в картине нашего жестокого прошлого.

Павел Филонов был, как это следовало из рассказов, человеком трудным, резким, не считающимся с предрассудками окружающих. Был он настоящим революционером-идеалистом типа Родиона Раскольникова – самый опасный тип революционера. Вся жизнь свою он посвятил единой цели: произвести революцию в живописи. Поэтому он никогда не продавал своих работ никому. Его намерением было выставить все свои произведения разом. Вероятно, он надеялся оглушить этим «залпом Авроры» зрителей и перевернуть у них в голове все представления об искусстве и о жизни.

Свой метод он называл «аналитической живописью» и говорил, что в своих работах он «разлагает действительность на ее составляющие». Те, кто видели его работы, обратили, наверное, внимание на их многоплановость. Один рисунок содержал множество мелких рисунков, законченных и, как казалось, независимых от прочих элементов картины. Эти мелкие рисунки выглядели как иероглифы, скрывающие в себе вездесущую и неразгаданную мысль автора картины. Вероятно, в этом и заключалась «разложительная действительность» на составные части, но было совершенно невозможно проникнуть в смысл этих таинственных «иероглифов».

Сейчас можно свободно рассматривать картины Филонова и спокойно ломать себе голову над их таинственным содержанием. Но в те далекие времена это было практически невозможно. Сестры отказывались разворачивать свертки, справедливо полагая, что от этого могут раскрошиться краски. И только один раз согласились они вытащить наугад и развернуть один свиток. Оказалось, что это была «Формула революции», написанная именно в таком «иероглифическом» стиле.

То были времена безраздельного господства так называемого «социалистического реализма». Между художниками ходила тогда печальная шутка: «соцреализм – это портреты наших вождей в понятной для них форме». Легко догадаться, что загадочные «формулы» и «иероглифы» Филонова совсем не подходили к этой программе. И он, действительно оказался в очень остром конфликте с революционными властями. Его постепенно выжили из всех художественных организаций, лишили всякой материальной помощи, препятствовали выставлению его работ, устраивали разносы на собраниях и митингах. Особенно беспощадным его преследователем оказался В.А. Серов, будущий президент Академии Художеств СССР и автор таких шедевров соцреализма, как «Ходоки у Ленина» и «Зимний взят». Сестры не могли спокойно слышать имени этого человека. Даже спокойная и сдержанная Евдокия Николаевна менялась в лице, когда в ее присутствии упоминали Серова. Это был злой гений семьи. На митингах, на совещаниях, в газетах и разговорах он

постоянно разоблачал «двурушничесую» позицию Филонова, его вредительскую деятельность, требовал его высылки из колыбели Октябрьской революции и оддания под революционный трибунал.

Своими призывами он лишил Филонова всех средств существования, но ему не удалось отправить его в тюрьму или к палачам. Это был все-таки «свой человек». Поэтому Павлу Николаевичу гуманно позволили умереть от голода во время блокады.

Как и все убежденные революционеры, Павел Филонов неверно представлял себе цели революции. Обычно только небольшая группа повстанцев борется за осуществление абстрактных идеалов социальной справедливости (очень часто неверно понятых, нелепых и нереальных). Широкие массы, участвующие в перевороте, интересуют лишь обещанный раздел собственности между победителями: возможность законно забрать у побежденных их посты, жилье, имущество, влияние. Поэтому после переворота им ставятся враждебны как контрреволюционеры, стремящиеся отобрать у них награбленное, так и последовательные революционеры, мешающие им пользоваться награбленным. Если эти последние не унимаются, то (как яковинцев) их посылают на гильотину, или (как штурмовиков) вырезают под покровом ночи. По этой причине Филонов со своими идеями «революции в живописи» был для властей Революционной России почти также неприемлем, как, например, Бердяев, сторонник «контрреволюции в философии».

Рассказы сестер об их брате производили на меня двойственное впечатление. С одной стороны, я все больше и больше проникался сочувствием к самим сестрам, но, с другой стороны, я начал задумываться над тем, что бы произошло, если бы Филонов стал главным идеологом советского искусства и заменил на этом посту Серова? Не думаю, что это были бы золотые времена для русской живописи.

Как бы то ни было, Павел Николаевич оказался чужим среди своих единомышленников. Как я уже сказал, его лишили всякой материальной поддержки, перестали приглашать на собрания и просто избегали. Его материальное положение стало совсем катастрофическим из-за его нежелания продавать свои произведения. По свидетельству сестер его ежедневным рационом был крепчайший чай, сахар и черный хлеб. Характер у него все более и более портился, он замыкался в себе и становился раздражительным. Очень странно выглядела и его женитьба. Он женился на матери своего друга: ее возраст равнялся сумме лет сына и мужа! На стене в «салоне» я имел возможность наблюдать совместный портрет матери и сына, который производил странное «потустороннее» впечатление.

Филонов очень активно работал. Но, поскольку у него не было денег, он писал ма-сло даже на бумаге и экономил краски. Была у него и своя школа: в тридцатых годах наделало много шуму издание «Калевалы», иллюстрированное его учениками. Павел Николаевич, правда, был несколько необычным педагогом.

Он считал, что никакого художественного таланта не существует, и что каждый человек может сам сделать себя художником. Как рассказывали, он ставил начинающего перед чистым листом бумаги, изображал на ней точку и предлагал новичку «рисовать вправо и влево от точки». К сожалению Мария Николаевна, которая мне об этой методе рассказала, не могла мне объяснить, в чем состояло это «рисование от точки».

Филонов, однако, очень ценил настоящие художественные произведения и настоящих художников. Любопытен рассказ о том, как он познакомился с Исааком Бродским, любимцем партийных властей того периода. Когда Бродский неожиданно явился в полупустой квартире Павла Николаевича, все ожидали бури. Как говорили присутствующие, лицо хозяина не предвещало ничего хорошего, но Бродский неожиданно совершил поступок, который навечно покорила Филонова.

А именно: он снял свой полусубок и повесил его на малюсенький гвоздик, вбитый в стену! Филонов потом с восторгом рассказывал: «Это очень маленький гвоздик. Его обычный человек не заметит на фоне пестрых и замазанных обоев. Но что значит глаз художника! Он его сразу нашел!». Кажется, Бродский был одним из немногих, с кем у Филонова сохранялись нормальные отношения.

Как и следовало ожидать, Филонов оказался среди первых жертв блокады. Его изношенный организм не мог выдержать полного голода и нестерпимого холода. На сестер свалилось не только огромное горе, но и страшные хлопоты. В домоуправлении им сказали, что ни о каких помощниках, транспорте и гробе не может быть и речи. Сестры сами должны приготовить тело брата для погребения, зашить его в простыню и отвезти на Серафимовское кладбище. Единственное, что может быть им предоставлено в распоряжение – это тяжелая двухколесная ручная тележка. Одновременно им намекнули, что для двух слабых и беспомощных женщин было бы лучше всего подбросить тело в какой-нибудь подворотне (тогда многие так и поступали!).

Сестры об этом не хотели даже слышать. Хотя задание казалось им невыполнимым и неисполнимым, они со стиснутыми зубами приступили к выполнению своего последнего долга по отношению к брату. Обливаясь слезами, они зашили тело в простыню и с большим трудом взгромоздили его на тележку. Шатаясь на ослабевших ногах, они покатили тележку в сторону Марсова поля. Им предстояла долгая дорога: по Садовой улице, через Троицкий мост, весь Каменноостровский проспект, Каменный остров и При-морское шоссе!

Евдокия Николаевна всегда казалась очень крепкой и здоровой. Румяное лицо, сияющие голубые глаза, приветливо улыбающиеся губы – все это создавало впечатление человека уверенного в себе и полного сил. Когда, уже почти в конце блокады, сестрам удалось эвакуироваться куда-то в степи Средней Азии, она отчетливо выделялась своим цветущим видом в серой толпе несчастных эвакуированных. Неудивительно, что она сразу была замечена офицерами польской дивизии, которая формировалась рядом (вероятно, это была армия

генерала Андерса, которую по соглашению между Польским правительством в эмиграции и Москвой приготавливали для выступления на фронт).

Поляки называли Евдокию Николаевну «Крулевой» (прицессой) и старались при первой возможности поцеловать у ней руку и преподнести ей цветы.

В действительности, однако, Евдокия Николаевна была очень слабого здоровья. У нее бывали частые головокружения и приступы страшной слабости. Цветущий вид Ев-докии Николаевны, таким образом, не соответствовал действительному состоянию ее здоровья. Это была какая-то физиологическая аномалия, которая чуть было не стоила ей жизни. Во время ее пребывания в блокадном Ленинграде ее вид вызывал на улице сильное раздражение. Ей неоднократно приходилось слышать: «Мы умираем с голоду, а это гадина обжирается!» Несколько раз дело чуть не доходило до самосуда.

Так что Евдокия Николаевна была плохой «тягловой силой». А что же можно было сказать о Марии Николаевне, которая была инвалидом! Для нее каждое восхождение по лестнице было настоящей проблемой. Голодные и промерзшие женщины пихали свою тележку, между сугробами, воронками и завалами, что им заняло практически целый день. Но самое страшное встретило их в тот момент, когда они хотели свернуть с При-морского шоссе в сторону Серафимовского кладбища. Там проходила насыпь Примор-ской железной дороги. К поезду вел крутой и обледенелый подъем.

Евдокия Николаевна мне рассказывала, что всю жизнь ее преследует страшный сон. Она снова пытается втащить тяжелую тележку на железнодорожный переезд. И каждый раз она с криком просыпается и уже не может заснуть! «Это было самое страшное пере-живание в моей жизни», говорила она. Несколько часов сестры пытались втянуть те-лежку наверх, падали, калечили себе ноги и руки. Тележка вырывалась у них из рук и скатывалась назад, к шоссе. Тело падало с тележки и нужно было его с большим трудом втаскивать назад. Таково было прощание с земной жизнью выдающегося русского ху-дожника!

Подобно, царь Петр любил говаривать, что «в России народу на все хватит». И эта уверенность в неисчерпаемости российского людского потенциала объясняет щедрость, с какой хозяева России жертвуют жизни своих подданных для осуществления своих исторических целей, а также их равнодушие к страданиям исполнителей и к понесен-ным потерям. И мы аплодируем этим победителям, обновителям, великим стронителям за их окупленные морями крови скоропалительные решения!

Слушая сестер, я не переставал удивляться снова и снова неповторимой натуре рус-ского интеллигента. Прошлое разрушено и забыто, в настоящем – пустота, будущее – темно и безнадежно. Но человек живет, молчит, нормально функционирует и старается не поддаться всеобщему оподлению. И продолжает жить в покорном ожидании того, когда же его позовут или на подвиг, или в застенки.

Как я понял, сестер поддерживали в жизни две надежды. Евдокия Николаевна очень надеялась, что ей удастся найти талантливого ученика, из которого она сделает великого солиста. Это должно было окупить ее страдания и лишения, стать завершающим ито-гом жизни, ее и сестры. Но главной была, конечно, надежда сохранить творчество их брата до того времени, когда он будет повсеместно признан и известен! И сестры все время верили, что это время придет, хотя события в их жизни настраивали скорее на пессимистический лад.

С учениками Евдокии Николаевне не везло: все время попадались очень посред-ственные и неинтересные, вроде меня. И только один раз неожиданно забрезжила сла-бая надежда. Ученицу звали Эрна Владимировна Ч., была она уже около «тридцатки» и работала, кажется, бухгалтером. Был у ней очень сильный голос, не был он очень кра-сив, но обращал на себя внимание своей металлической отчетливостью. Несомненно, что в каждом советском оперном театре Эрна выделялась бы среди поющего персонала.

Была проделана огромная работа. Эрна выступила в нескольких концертах и даже спела в «Русалке» Даргомыжского. Наконец, было получено приглашение на конкурс в Большой театр. Мы все переполошились. Все желали Эрне успеха и были уверены, что она победит. Все бегали и что-то приготавливали. Я подарил Эрне роскошный клавир «Анды» с напыщенным итальянским посвящением.

Наконец, Евдокия Николаевна и Эрна уехали в Москву, а мы стали ждать известий. Я каждый день звонил Марии Николаевне, но она очень мрачным голосом сообщала, что известий нет. Наконец, на мой звонок неожиданно ответила сама Евдокия Николаевна. По тону ее голоса я понял, что все пропало. «Приезжайте, поговорим», глухо сказала она и положила трубку. Что же оказалось?

Конкурс происходил в известном зале имени Бетховена (в здании Большого театра).

Было много участников со всей страны, не были это все же серьезные соперники. Эрна сразу же выделялась и почти все были уверены в ее победе. Но неожиданно появилась мало кому известная Галина Вишневская (в будущем – жена Мстислава Ростроповича), и тоже из Ленинграда. «Как только она спела, всем стало ясно, что конкурс закончен», печально сказала Евдокия Николаевна. Хуже всего было, однако, то, что по возвраще-нии в Ленинград Эрна пропала, не приходила, не отвечала на телефонные звонки.

По поручению Евдокии Николаевны я поехал к Эрне в коммунальную квартиру ста-рого дома на улице Маяковского. Эрна была надломлена, но держалась твердо. «Я уже не первой молодости, и должна думать о семье, о хлебе насущном», решительно сказала она, отвергнув все мои предположения о новых попытках пробиться на сцену. Так у Ев-докии Николаевны сгорела одна из ее жизненных надежд.

В очень тяжелом настроении Евдокия Николаевна снова обратилась к мыслям о творческом наследии брата. Но эта надежда, как казалось, сгорела еще

раньше. Странное происшествие, о котором мне неоднократно рассказывали сестры, произошло уже после окончания войны.

Как я уже говорил, Павел Николаевич никому никогда своих работ не продавал. Но совершенно неожиданно два его небольших холста обнаружались на западе, кажется, в Голландии. (Сестры предполагали, что картины кто-то выкрал из запасников Русского музея). Работы Филонова вызвали большой интерес, и в Ленинграде появился известный американский журналист, пишущий об искусстве. Прямо из отеля он направился в дирекцию Русского музея и огоршил директора требованием показать ему работы Фи-лонова. После того, как в музее пришли в себя от этого неожиданного требования, нача-лась обычная торговля. Журналиста убеждали, что никаких работ Филонова в музее нет, что вообще никакого Филонова не было и т.д. Но заокеанский гость был настойчив и даже показал газетные материалы об обнаруженных произведениях. После консульта-ции с Москвой решено было показать настырному иностранцу филоновский фонд, нахо-дящийся в тесном и темном запаснике. Беспардонный американец и тут не успокоился. Он потребовал, чтобы ему позволили сфотографировать выбранные филоновские тво-рения.

На этот раз после долгих консультаций и телефонных переговоров была пущена в ход наивысшая дипломатия: нахальному просителю сообщили, что работы не могут быть вынесены из запасника, ввиду их неудовлетворительного состояния. Если же он настаивает, то может делать снимки, но только в темном запаснике. Ему не разрешат, правда, включить дополнительное освещение, так как это запрещают правила проти-вопожарной безопасности. Ко всеобщему удивлению смутьян согласился на эти усло-вия. Он вытащил фотографический аппарат с каким-то особенно широким объективом и щелкнул два выбранных холста.

Провожая американца к интуристовскому лимузину, сотрудники музея едва сдерживали насмешливые улыбки. В последующие дни в дирекции не прекращались шутки по поводу заокеанского простофили. Воображали себе, с каким лицом он будет рассма-тривать темные полученные отпечатки и пр. Но через месяц-другой в музей прибыл но-мер известного журнала (кажется, это был *Look*). К удивлению и панике директора и сотрудников на них смотрели две превосходные репродукции работ Филонова! Евдокия Николаевна, которой журнал тоже показали, подтвердила, что редко видела такие пре-красные и подробные изображения.

Специалисты по фотографии объяснили, что американец наверняка пользовался ап-паратом с какой-то особенной просветленной японской оптикой, которая позволяет де-лать снимки почти в полной темноте. Теперь настроение наших «дипломатов» корен-ным образом изменилось. На всех уровнях забегали «идеологические товарищи», за-звонили телефоны, по проводам поплыл «руководящий мат». Разъяренный директор Русского музея позвонил Евдокие Николаевне и потребовал, чтобы она забрала «этот хлам» из запасников. Если в

течение двух дней это не будет сделано, вся эта мазня ока-жется в мусорном ящике, где ей, впрочем, и место!

Таким образом работы Павла Николаевича оказались под кроватью Евдокии Нико-лаевны. А надеждам сестер увидеть при жизни произведения брата, выставленные в музее, был нанесен тяжелый удар. Теперь их глодала только одна забота: что будет с работами брата, когда обе они умрут?

Пришла хрущевская «оттепель», но она не коснулась художников. В популярном тогда анекдоте один колхозник говорит другому: «Хороший человек Никита Сергеевич. Очень душевный и правильный человек. Жаль только, что ничего не понимает в сель-ском хозяйстве!». «В сельском хозяйстве, действительно, ничего не понимает – возра-жает другой, – но зато какой он знаток в искусстве!». И мы помним публичные разгоны, которые устраивал художникам великий демократ, «бульдозерные» выставки и пр. Это-му не приходится особенно удивляться, так как его советником по делам изобразитель-ных искусств стал, как говорили, наш знакомый В.А. Серов, который успел уже пере-браться в Москву и стать президентом Академии Художеств СССР. Было ясно, что ни один художник-новатор, ни тем более сам Филонов, не имели никаких шансов получить признания властей. И сестры страшно приуныли.

Вдруг в этой атмосфере всеобщего уныния из Новосибирска пришла неожиданная новость: в местном Академгородке открыта выставка работ художника Филонова! Я до сих пор не знаю, что сказать по поводу этого события. Евдокия Николаевна, к которой я кинулся сразу, чтобы узнать подробности, решительно избегала разговоров. Мои знако-мые тоже не знали на этот счет ничего. Единственное, до чего мы додумались, было предположение о том, что Хрущев просто не мог отказать атомщикам и кибернетикам, за которыми он очень ухаживал. Эта была тогда привилегированная каста общества: им даже прощались еретические отступления от заповедей социалистического реализма.

Не успели мы отряхнуться от своих переживаний, как новая потрясающая новость: в Ленинградском отделении Союза художников состоялся вечер памяти П.Н.Филонова и демонстрация его работ!! Нетрудно догадаться, что в назначенный вечер я, полон на-дежд, был у входа в Союз. Но тут моя радость угасла: в дверях стояли добрые молодцы, которые наверняка не были художниками, и тщательно проверяли пригласительные би-леты. Как видно, ленинградские власти не хотели совсем отказаться от идеологических завоеваний Октября и разрешили впускать только благонамеренную публику. Все мои попытки объяснить стражникам мои особые отношения с Филоновыми ничего не дали. «Не мешайте входящим», сказал один внушительно, и я встал в стороне, надеясь неиз-вестно на что. И счастливая судьба повторила со мной то, что произошло когда-то с героями «Двенадцати стульев».

К выходу вышло некое Ответственное Лицо и стало с нетепением доведываться у контролеров, не приезжала ли Евдокия Николаевна? Выяснилось, что она весьма зна-чительно опаздывает, а номера ее телефона не удосужились

записать. В этот момент один из контролеров указал на меня и сказал, что я знаю Глебову. Я подтвердил.

До смерти обрадованного, меня привели в какой-то кабинет и пододвинули телефон.

Евдокия Николаевна была очень удивлена, когда услышала мой голос и еще более удивилась тому, что ее с нетерпением ожидает многочисленное общество. Оказывается, она улеглась, чтобы выспаться и лучше выглядеть на вечере. Так делают многие актеры и музыканты перед выступлением. Но при этом она забыла о времени.

Вскоре она приехала. Это был последний раз в жизни, когда я видел Евдокию Николаевну. Как всегда, она выглядела превосходно и уверенно. В глазах ее блистал триумф. Ее мечта была близкой к осуществлению. Но, как я потом узнал, после этого вечера пришла новая полоса забвения, тревог, конфликтов с «благотельями» и одинокая смерть. Только случайно, уже в Польше, я прочитал в купленной «Литературной газете» большую статью директора Русского музея о той заботе, какой сестра П. Филонова была неизменно окружена при жизни.

На этом кончаются мои воспоминания, связанные с малоизвестным периодом в истории Филоновых. Дальнейшее существование Евдокии Николаевны уже известно и описано подробно.

Пока я писал этот очерк, я видел перед собой полутемный «салон», освещенный слабой люстрой, висевшей под самым потолком. «Тиночка» и «Мусик» сидят в своих издавших виды креслах. Они молчат, их глаза устремлены в пространство. Что они видят? Может быть, короткие дни счастливого детства перед наступлением глубокой и беспросветной ночи? Может быть, они видят серое и безрадостное будущее: медленное угасание в ком-натушке без окон, на беззащитных свитках бумаги и холста? Мир вашим многостра-дальным душам, Евдокия и Мария Николаевны!